
ЕВА ЗИМИНА
Чайная для драконьего инспектора

Ева Зимина

Чайная для драконьего инспектора

«Автор»
2026

Зимина Е.

Чайная для драконьего инспектора / Е. Зимина — «Автор», 2026

Самостоятельная история в мире «Тёплого берега».В день открытия моей чайной драконий инспектор нашёл семь нарушений. С шестью я согласилась и устранила их за пять часов. Седьмое звучало как «печь внушает сомнение», и проверять её он решил лично. Каждую неделю.Лоран Ведель пьёт самый горький чай, который ему не нравится, платит без сдачи и не берёт угощения от тех, кого проверяет. А ещё он родной брат хозяина «Дома Веделя» через шесть домов от меня — и жалобы на мою чайную носит подписывать приказчик его брата.Он сам пишет на себя отвод. Ему отказывают. Мне не обязательно ему верить. А до весенней проверки — зима, ночь великого мороза и моя собственная ошибка, которую не на кого свалить.Семнадцать лет я работала под чужой вывеской. Теперь пора решить, что я готова подписать своим именем.

© Зимина Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Семь замечаний 5
Глава 2. Дом четырнадцать 12
Глава 3. Ведель 19
Конец ознакомительного фрагмента. 24

Ева Зимина
Чайная для драконьего инспектора

Глава 1. Семь замечаний

В день, когда я открыла свою чайную, я обожгла палец о собственный чайник, и это было лучшее, что случилось со мной до обеда.

Чайник был Тихонов, медный, с деревянной ручкой, которую Тихон за тридцать лет так и не удосужился переклеить. Ручка поворачивалась, если взять её быстро, и тогда пальцы попадали на медь. Я семнадцать лет брала этот чайник медленно. А второго листопада, в шесть утра, когда в зале ещё пахло мокрой тряпкой и олифой от новой вывески, я взяла его быстро — и указательный палец правой руки прилип к меди, как язык к замёрзшему колодезному вороту.

Я не закричала. Я сказала одно слово, которому научилась в Портовой слободе раньше, чем буквам, сунула палец в рот и пошла к Агафье за стену.

Агафья пекла. Агафья пекла всегда, сколько я её знаю, — с четырёх утра, в белом платке, повязанном на лбу узлом, с руками в муке по локоть. Она посмотрела на мой палец, охнула, сказала: «В день открытия — к деньгам», — и намазала его постным маслом из бутылки. Палец сразу перестал гореть и начал гореть по-другому, глубже. Я поблагодарила. Агафья завязала мне его чистой тряпочкой и спросила, не передумала ли я насчёт пирогов.

— Не передумала, — сказала я. — Сорок штук. К двум.

— Сорок, — сказала Агафья. — Ты, Никушка, рисковая.

Я была не рисковая. Я посчитала. Набережная — сорок дворов от маяка до таможни, и в каждом я неделю назад сказала: второго листопада, в два часа, первая чашка — даром, пирог — даром. Не придёт и половина. Придёт треть. Придут, может, двадцать человек, и съедят сорок пирогов, потому что даром. А потом те из двадцати, кому понравится, придут снова. Платить. Так меня учил Тихон: первый раз люди идут за даровым, второй — за своим.

Тихон бы сказал, что сорок — много. Тихон бы сказал, что хватит двадцати. Но Тихон умер в березене, и чайная теперь была моя, и пироги тоже мои.

Я вернулась к себе и встала посреди зала.

Пять столов. Тёмный дуб, Тихон купил их на распродаже после пожара в старой таможне, тридцать лет назад; я их отскребла до светлого, а потом три дня натирала воском, пока они снова не потемнели — но уже ровно, без копоти. Полки вдоль стен, на полках — жестяные коробки, тридцать две, на каждой бумажка, моей рукой: что внутри, откуда, когда пришло. Печь в углу — изразцовая, белая, с медной заслонкой, Тихонова гордость. Стойка, весы, пинцет. Над стойкой — лампа. В кладовой за стойкой — двенадцать ящиков от Фрея, пришли вчера под вечер: шесть «Портового», три «Чёрного горного», два зелёного и один, самый тяжёлый, с медной посудой из столицы, которую я заказала ещё весной, когда думала, что денег хватит. Денег не хватило. Посуда пришла.

И вывеска. Вывеску я повесила вчера сама, с Агафьиным сыном Пашкой на лестнице. Чёрная доска, белые буквы, одно слово — «Чайная», и никакого имени. Пашка спросил, почему без имени, — у всех ведь с именем. У Тихона тридцать лет было «Чай Тихона Сыча», с завитушками и нарисованной чашкой. Через шесть домов, ближе к маяку, у Веделей — «Дом Веделя. Кипяток от дракона», с самоваром и драконом во всю доску, и дракон у них золотой, а самовар красный. Я сказала Пашке, что имя у чая должно быть, а не у меня. Пашка сказал, что это глупо. Может, и глупо. Я не знала, как объяснить ему, что если под моим именем ничего не выйдет, то не выйдет у меня, а если под словом «Чайная» — то просто у чайной.

Я затопила печь в восьмом часу. Печь брала долго — она всегда брала долго, Тихон говорил, что у неё характер. К десяти изразцы стали тёплыми, а к одиннадцати я уже ходила по залу без шали и пробовала.

Я пробую каждое утро, до двух, всё, что буду заваривать. Не потому, что чай меняется за ночь. Потому, что меняюсь я. Вчерашний «Горный» мог показаться мне терпким, а сегодня — пустым, и если сегодня он мне пустой, значит, сегодня его надо держать на минуту дольше. Тихон смеялся надо мной. Потом перестал смеяться и стал спрашивать: «Ну, как сегодня?»

Сегодня всё было как надо. Даже «Портовый» — дешёвый, чёрный, грубый, который пьют грузчики, потому что он горький и дешёвый и от него не хочется спать, — даже он сегодня был честный: горький, но не злой.

В одиннадцать постучали.

Я крикнула, не поднимая головы от весов:

— Закрыто до двух!

Дверь открылась. Колокольчик над ней звякнул — я повесила его тоже вчера. Вошёл человек.

Высокий. Очень высокий: ему пришлось чуть пригнуть голову под притолоку, хотя Тихон, который был мне по плечо, всегда говорил, что притолока у нас «для гренадеров». В сером кафтане, длинном, казённого покроя, со стоячим воротником и оловянными пуговицами. Светлые волосы, коротко остриженные. Лицо — я потом долго думала, на что оно похоже, и так ничего лучше не придумала, — будто он только что съел лимон целиком, со шкуркой, и не собирается никому в этом признаваться.

— Огневая управа, — сказал он. — Осмотр после смены владельца.

— Я прошение подавала месяц назад, — сказала я. — Никто не пришёл.

— Я пришёл, — сказал он.

— Сегодня.

— Сегодня, — согласился он. — Вы открываетесь сегодня. Осмотр положен до открытия.

Он достал из-за пазухи тетрадь в клеёнчатой обложке, карандаш и пошёл по залу. Не спрашивая. Как будто зал был его.

Я вышла из-за стойки и пошла следом.

Он посмотрел на лампу над стойкой, потом под неё — на пучки мяты и чабреца, которые я развесила сушиться на жердочке, — и записал. Посмотрел на поленницу у печи — я сложила её вчера, красиво, берёзу к берёзе, — и записал. Огляделся, будто что-то искал, не нашёл и записал. Заглянул за стойку, увидел ведро для золы — дубовое, Тихоново, с железными обручами, — и записал. Потом открыл дверь в кладовую.

Ящики стояли от пола до потолка. Двенадцать ящиков, по шесть в два ряда, и за ними — я это знала, но вчера вечером об этом не думала, — дверь во двор. Задняя дверь. Выход.

Он постоял, глядя на ящики. Потом протиснулся боком, дотянулся до двери над ящиками, потрогал её — дверь была вделана так, что открывалась внутрь, на ящики, — и записал.

Потом вернулся в зал и подошёл к печи.

Он снял перчатку. Рука у него была большая, с длинными пальцами, на тыльной стороне — светлые волоски. Он положил ладонь на изразец, на левую боковую стенку, и стоял так. Минуту, другую. Я смотрела на его руку и злилась, сама не знаю на что. Потом передвинул ладонь ниже, ещё ниже, потом выше, к самой заслонке; лицо у него не менялось, только брови сошлись — чуть-чуть.

Он был драконом. Я поняла это не по лицу и не по росту. Я поняла по тому, как он держал руку на горячем изразце, на котором я сама не продержала бы ладонь и пяти вдохов. Драконы не создают тепла, это знает любой ребёнок. Они его слышат, берут и переносят. Огневая управа почти вся из драконов — кто ещё сквозь кирпич почувствует, где жар уходит в щель.

Он отнял руку, надел перчатку и записал. Долго.

Потом повернулся ко мне.

— Семь замечаний, — сказал он. — Первое. Выход за складом загромождён. Второе. Задняя дверь открывается внутрь. Должна наружу. Третье. Нет ящика с песком у печи. Четвёртое. Дрова сложены ближе трёх шагов от топки. Пятое. Масляная лампа висит над сушащимися травами. Шестое. Ведро для золы деревянное. Должно быть железное, с крышкой.

— Тихон тридцать лет… — начала я.

— Седьмое, — сказал он. — Печь. Левая боковая стенка греется неровно. Видимой трещины нет.

— Тогда что?

— Не знаю, — сказал он. — Внушает сомнение.

Я засмеялась. Не потому, что было смешно.

— «Внушает сомнение», — повторила я. — Это вы так в акт и запишете?

— Уже записал, — сказал он и показал тетрадь.

Там было написано, ровным мелким почерком: «7. Печь изразцовая, левая боковая стенка — неравномерный прогрев; видимых трещин не обнаружено. Внушает сомнение».

— Тихон тридцать лет с этой печью работал, — сказала я. — Тридцать. И ни одного пожара.

— У Тихона Сыча было пожизненное свидетельство, — сказал инспектор, — выданное ещё его отцу. По старому уложению. Оно умерло вместе с ним. — Он помолчал. — Вам нужно новое.

Он открыл тетрадь на чистой странице, написал что-то, вырвал лист, положил на стойку. Сверху было напечатано: «Огневая управа Тёплой Губы. Акт осмотра». Внизу, его рукой: «Топку запретить до устранения пп. 1–6. По п. 7 — еженедельный осмотр до весенней проверки». И подпись: «Л. Ведель, инспектор Портовой части».

Топку запретить.

Я стояла и смотрела на лист. Без топки нет кипятка, без кипятка нет чая, а без чая нет и чайной — есть пять дубовых столов, тридцать две жестяных коробки и сорок пирогов, которые Агафья ставит в печь за стеной прямо сейчас.

— У меня открытие в два, — сказала я.

— Устраните — откроетесь, — сказал он.

— За три часа?

— Если успеете.

— Я не успею за три часа переложить двенадцать ящиков и перевесить дверь.

— Тогда откроетесь, когда успеете.

Я посмотрела на него. Он смотрел на меня — спокойно, сверху, как смотрят на погоду.

— Послушайте, — сказала я. Я не люблю говорить «послушайте». Это слово просителей. Тихон его говорил поставщикам, и я каждый раз морщилась. — Послушайте. Я сегодня открою, как объявила. Люди придут. А завтра с утра я всё переложу, переставлю, повешу, куплю ведро. Завтра к полудню. Приходите завтра в полдень — всё будет.

— Нет, — сказал он.

— Почему?

— Потому что если сегодня в шесть вечера у вас загорится кладовая, — сказал он, — а в зале будут двадцать человек, то выйти они смогут только через переднюю дверь. А передняя дверь — вот она, — он кивнул, — рядом с печью. И если гореть будет печь, то через неё никто не выйдет.

— Печь не горит. Печь греет.

— Сегодня — да.

— А завтра?

— Не знаю, — сказал он. — Поэтому — седьмое.

Он убрал тетрадь за пазуху и пошёл к двери. На пороге обернулся.

— Я приду в девять вечера, — сказал он. — Если всё устранено — подпишу допуск.

Дверь закрылась. Колокольчик звякнул.

Я стояла посреди своей чайной, в которой пахло олифой, воском и чаем, с обожжённым пальцем, завязанным тряпочкой, и думала, что за тридцать один год меня ещё ни разу не закрывали за три часа до открытия. Тихона однажды закрыли на день — за то, что он подрался с пьяным шкипером. Но это было за дело.

А потом я подумала, что дверь в кладовую и правда открывается внутрь. И что ящики и правда стоят до потолка. И что если бы загорелось — а у Тихона однажды загорелась ветошь у печи, мне было пятнадцать, мы тушили её чайником, — если бы загорелось в кладовой, я бы сама не вышла через эти ящики.

Он был прав. Это было хуже всего.

Я пошла к Агафье.

— Пироги, — сказала я с порога. — Не нужны. То есть нужны. Но завтра.

Агафья выслушала. Охнула. Сказала: «Ах он, сухарь казённый», — и тут же: «А ведь и правда — дверь-то внутрь у тебя, я ещё при Тихоне говорила». Пироги она пообещала не печь, а те, что уже поставила, — продать сама, у себя, а мне завтра испечь новые. Даром не дала. Агафья вообще ничего не даёт даром — но и не обманывает, и это в слободе ценится выше.

— Пашка мой поможет с ящиками, — сказала она. — И дверь перевесит. Он умеет. За гривенник.

Лишнего гривенника у меня не было — гривенником в слободе называют десять медяков, а в кассе было двадцать два медяка на всё до первой выручки. Я сказала: десять медяков. Агафья сказала: Пашка поест у тебя завтра бесплатно, и в расчёте. Я сказала: договорились.

В два часа я стояла у двери своей чайной и встречала людей.

Пришли, к моему удивлению, не двадцать. Пришли тридцать с лишним. Грузчики с таможни — все шестеро, Тихоновы старые гости, и с ними рыжий Федот, который каждое утро тридцать лет пил у Тихона «Портовый» с куском сахара вприкусу. Прачки из слободы — мамины подруги, постаревшие, в одинаковых серых платках. Вдова Лаптева, хозяйка дома, — она сдавала мне помещение и пришла посмотреть, не спалю ли я его. Двое матросов с какого-то судна — эти просто услышали «даром». Старый фонарщик. Учитель из слободской школы с двумя учениками. Женщины из рыбного ряда. Пашка.

Я каждому сказала одно и то же: огневая управа нашла нарушения, сегодня закрыто, завтра в два — всё то же самое, чай даром, пирог даром. Извините.

Федот плюнул и сказал, что при Тихоне такого не было. Прачки покачали головами. Лаптева поджала губы и сказала: «Огневая управа — это правильно. Это мой дом». Матросы ушли сразу. Учитель сказал, что придёт завтра. Рыбный ряд ушёл молча, и это было хуже всего: рыбный ряд разносит новости быстрее чаек.

Последней пришла женщина, которую я не знала, — в добротном пальто, с корзиной, — постояла, послушала, что я говорю Федоту, и ушла в сторону маяка. К Веделям.

Я закрыла дверь, повесила на неё доску — на доске мелом: «Сегодня закрыто. Завтра в 2 — открытие. Чай и пирог даром», — и пошла в кладовую.

Мы с Пашкой таскали ящики до темноты.

Таскать их было некуда, кроме погреба. Погреб у нас под кладовой, сухой — так считал Тихон, — с каменными стенами и с лестницей, крутой, как трап. Летом там стояли бочки с квасом, зимой — ничего. Пахло там морем, потому что до моря от нашей задней стены сорок шагов, и мне этот запах всегда нравился. Я решила, что на зиму сойдёт. Чай — в жестянках, жестянки — в ящиках, ящики — на досках, на два пальца от пола. Что ему сделается.

Пашка таскал, я принимала внизу. Палец под тряпочкой горел и дёргал, и каждый ящик, который я ставила, отдавался в нём, как зубная боль. К шести мы снесли одиннадцать. Две-

надцатый — с медной посудой — мы сдвинули с места вдвоём, дотащили до люка и поняли, что по лестнице его вдвоём не спустить: Пашке пятнадцать лет, мне — тридцать один, и мы оба мелкие. Ящик остался стоять у люка, посреди кладовой. До двери от него было три шага. Проход был.

Потом Пашка перевешивал дверь. Это было дольше, чем я думала, потому что петли Тихон в своё время не прикрутил, а вбил, как гвозди, и они сидели в косяке намертво. Пашка выдирал их клещами, ругался словами, за которые Агафья бы его выпорола, если бы слышала, — и я не выпорола, потому что говорила те же самые. К восьми дверь открывалась наружу. Скрипела, перекашивалась, но открывалась.

Песок я принесла с берега в железном ведре, которое взяла у Агафьи «до завтра», — оно же пошло под золу. Песок высыпала в старый ящик из-под «Портового». Дрова отнесла к задней стене. Лампу перевесила. Травы сняла с жердочки и разложила на полке.

В девять я сидела за ближним столом, не зажигая печи, в шали, и ждала.

Он пришёл в девять. Ровно. Я слышала, как на маяке пробило.

Он вошёл, кивнул и пошёл по залу. Посмотрел на лампу. На песок — даже наклонился и потрогал его пальцем, будто проверял, настоящий ли. На ведро и на дрова. Открыл дверь в кладовую.

Я пошла следом.

Он посмотрел на заднюю дверь. Открыл её — наружу, в тёмный двор, откуда пахнуло морем и снегом, хотя снега ещё не было. Закрыл. Потом посмотрел на ящик у люка.

— Этот, — сказал он.

— Проход есть, — сказала я. — Три шага.

— Есть, — согласился он. — Пока его никто не сдвинет. А сдвинут — когда понадобится в погреб. А понадобится в погреб — когда понадобится что-нибудь из этого ящика. А что в нём?

— Посуда.

— Тогда понадобится часто.

Я посмотрела на ящик. Он опять был прав.

— Нужно было раньше, — сказал он. Сухо. Без злости. Как говорят о погоде, которая была вчера.

И вот тут я разозлилась по-настоящему. Не на акт и не на седьмое, и даже не на то, что тридцать человек ушли от моей двери, а рыбный ряд уже разнёс по всей Набережной, что Никину чайную закрыли в первый же день. На это «нужно было раньше». Как будто я не знала. Как будто я не стояла сама весь вечер в этой кладовой, глядя на ящики, и не думала то же самое.

— Раньше, — сказала я. — Да. Раньше. А теперь, господин инспектор, раз вам так нужно, чтобы этот ящик стоял внизу, — вынесите его сами. Я не могу. Пашка не может. А вы — вон какой.

Я сказала это, чтобы он ушёл. Чтобы сказал что-нибудь казённое — «это не входит в мои обязанности» — и ушёл, и я бы осталась права хоть в чём-то.

Он посмотрел на меня. Потом снял перчатки, сунул их в карман, нагнулся, взял ящик снизу — и поднял.

Один, не крякнув, — ящик, который мы с Пашкой вдвоём еле сдвинули.

Он спустился с ним по лестнице, как по ровному полу, — я слышала, как скрипят ступени под его весом, по одной, — и поставил внизу, на доски, к остальным. Я стояла у люка и смотрела вниз, в темноту, где мелькал его серый кафтан.

Он поднялся, отряхнул руки и надел перчатки.

— Доски на два пальца от пола, — сказал он. — Хорошо.

И пошёл в зал.

Я пошла за ним. Он сел за ближний стол — тот, за которым я ждала, — достал тетрадь, вырвал лист и написал. Протянул мне. «Пп. 1–6 устранены. Топку разрешить. Временное огневое свидетельство — до весенней проверки. По п. 7 — еженедельный осмотр». Подпись.

— Можете топить, — сказал он.

Я взяла лист. Посмотрела на него. Потом пошла к печи и затопила.

Не знаю зачем: было девять вечера, открытие — завтра, и топить сейчас значило жечь дрова даром. Но я стояла у печи на коленях и разжигала щепу, и руки у меня тряслись, и палец под тряпкой дёргал, а он сидел за столом и не уходил.

Когда огонь взялся, я встала и сказала, не оборачиваясь:

— Чаю хотите?

— Да, — сказал он.

Я поставила Тихонов медный чайник — взяла его медленно. Печь брала долго, у неё характер, и вода не шла. Я стояла у печи, грела руки и ждала.

Он встал, подошёл. Положил ладонь на изразец — на правую стенку, где уже грело, — а другую ладонь на бок чайника. И стоял так, не глядя на меня. Через минуту чайник зашумел. Через две — закипел.

— Не надо мне помогать, — сказала я.

— Я не помогаю, — сказал он. — Я хочу пить.

— Какой?

— Самый горький, — сказал он. — Без сахара.

Я заварила ему «Портовый». Самый горький и самый дешёвый, медяк за чашку. Я заварила его как надо — не как грузчикам, на глаз, а как себе: на минуту меньше, чтобы горечь была, а злости не было. Налила в чашку из нового столичного набора — белую, с синей полоской, одну из тех, что лежали в ящике, который он только что снёс в погреб. Я её достала ещё днём, до того, как ящик заколотили обратно, — одну, на пробу.

Себе я налила в свою. Щербатую, с отбитым краем, с трещинкой от края до донышка, — Тихонову, из которой я пила семнадцать лет, потому что Тихон сказал мне в первый же день, что гостю битую не дают, а выбрасывать жалко.

Я поставила его чашку перед ним и села напротив со своей.

Он посмотрел на свою чашку. Потом — на мою.

— У вас скол, — сказал он.

— Это моя.

— Вы себе взяли битую.

— Гостю битую не дают, — сказала я.

Он ничего не ответил. Взял свою чашку и отпил.

Я смотрела, как он пьёт. Я всегда смотрю, как пьют мой чай, — это не любопытство, это ремесло: по тому, как человек делает первый глоток, видно, попала ты или нет. Грузчик Федот, например, пьёт «Портовый», как воду: залпом, не морщась. Тихон пил маленькими глотками и держал во рту.

Этот отпил, проглотил — и у него на долю мгновения дёрнулся угол рта. Вниз, едва заметно. Так дёргается рот у ребёнка, которому дали лекарство и сказали, что это вкусно.

Ему не нравилось. Ему не нравился самый горький чай, который он сам заказал.

Он отпил ещё раз. Лицо больше не дёрнулось. Он пил ровно, маленькими глотками, глядя в окно, на тёмную Набережную, и я сидела напротив и не понимала, зачем человек заказывает чай, который ему не нравится, — и злилась, что не понимаю.

— Ожог, — сказал он вдруг, не отрывая глаз от окна.

— Что?

— У вас ожог. Правая рука. Указательный палец. Вы весь вечер держите чайник левой.

Я посмотрела на свою руку. Тряпочка размоталась, и из-под неё был виден палец — красный, вздутый, блестящий от Агафьиного масла.

— Это вы тоже в акт впишете? — спросила я.

— Масло — зря, — сказал он. — Ожог надо в холодную воду. Сразу. И держать долго. Масло держит жар внутри. — Он помолчал. — И горячую чашку этой рукой неделю не брать. Иначе лопнет.

— Вы лекарь?

— Я огневой инспектор, — сказал он. — Я видел много ожогов.

Он допил. Поставил чашку на блюдце — аккуратно, без звука. Достал из кармана медяк — один — и положил рядом с чашкой.

— Первая чашка сегодня даром, — сказала я.

— Открытие завтра, — сказал он. — Сегодня — по медяку.

Он встал. Я тоже встала — не знаю зачем.

— Через неделю, — сказал он у двери. — Печь.

— Вы будете ходить каждую неделю?

— Каждую неделю. До весенней проверки.

— Пить чай?

— Осматривать печь, — сказал он.

И ушёл.

Я стояла у окна и смотрела, как он идёт по Набережной. Фонарщик уже прошёл, фонари горели через один, и серый кафтан появлялся в каждом пятне света и исчезал между ними. Он шёл к маяку. Через шесть домов, у «Дома Веделя», где золотой дракон и красный самовар, светились все окна и было слышно, как там смеются, — там всегда смеялись до полуночи, там пили чиновники из таможни и купцы с кораблей. Он прошёл мимо и даже головы не повернул.

Я вернулась к столу. Взяла его чашку — белую, с синей полоской. На донышке осталось на палец чая. Я понюхала. «Портовый», заваренный как надо: горький, но не злой.

Потом посмотрела на медяк — один, без сдачи, — будто он заранее знал, сколько стоит самый дешёвый чай в моей чайной, и заранее приготовил ровно столько, чтобы ни на один медяк не быть мне должным.

Я сунула палец в холодную воду из кадки у двери. Держала долго. Он был прав и тут. Через четверть часа палец перестал дёргать.

Это было хуже всего.

Я легла спать в каморке за кладовой, на Тихоновом сундуке, накрывшись шалью, — домой, в слободу, идти было поздно, — и долго не могла уснуть. Думала о сорока пирогах, о рыбном ряде, о тридцати людях у двери, о женщине в добротном пальто, которая ушла в сторону маяка. О «внушает сомнение».

И о том, что первая чашка, налитая в моей чайной, досталась человеку, который эту чайную закрыл. И что ему не понравилось.

А я заварила как надо.

Глава 2. Дом четырнадцать

Открылась я третьего листопада, в два часа, на сутки позже, чем обещала.

Пришло меньше, чем накануне. Рыбный ряд сделал своё дело: к утру вся Набережная знала, что «Никину чайную огневые закрыли», а к обеду — что закрыли «за пожар», а к двум кто-то уже рассказывал Агафье в булочной, что у меня «печь треснула и чуть всех не поубивала». Агафья рассказала мне. Я сказала, что печь цела. Агафья сказала: «Я-то знаю. А им поди объясни».

Но грузчики пришли. Все шестеро, и Федот впереди. Федот сел за ближний стол, как сидел тридцать лет у Тихона, положил на стол кусок сахара из кармана — свой, у Тихона сахар подавали отдельно, за медяк, и Федот тридцать лет считал это грабежом, — и сказал:

— Ну, давай свой. Даровой.

Я заварила ему «Портовый». Федот выпил залпом, не морщась, крякнул, вытер усы и сказал:

— Как у Тихона.

Это было неправдой. У Тихона «Портовый» заваривали на глаз, и он выходил то как дёготь, то как помои. Я семнадцать лет заваривала его сама, и последние шесть — так, как хотела. Но я сказала «спасибо». Тихона все любили: Тихон был лицом, а я — руками. Так было удобно всем, и мне тоже, — до березеня.

Пришли прачки. Пришёл учитель — без учеников, но с женой. Пришла Лаптева, села у окна, выпила чашку «Горного», сказала, что крепко, и что она бы так не пила, и попросила вторую. Пришли пятеро незнакомых — из тех, кто идёт туда, где даром. Агафьины пироги ушли все, до последнего, и Пашка съел три, а потом ещё полтора, которые я ему подсунула со стойки.

К вечеру я сосчитала выручку. Даровых чашек — тридцать одна, пирогов — сорок, платных чашек — девять, то есть девять медяков. Лаптева, учитель с женой, Федот, который после дарового взял второй «Портовый» и заплатил, и пятеро незнакомых. Девять медяков против сорока пирогов, которые обошлись мне в шестьдесят.

Тихон бы сказал: «Ну, Никушка, ты рисковая». Тихон бы сказал: «Второй раз придут за своим».

Я не знала, придут ли.

Пришли. Не сразу. К концу первой недели у меня было по пятнадцать-двадцать человек в день, и почти все — свои, Тихоновы, слободские, и почти все платили. По медяку, по два, редко — по три, за «Горный» с сахаром. Это было мало. Это было ровно столько, чтобы заплатить Лаптевой за помещение две серебрушки в месяц, Фрею за следующую поставку, и ещё отложить. Отложить надо было пять серебрушек к концу месяца — Акиму Сычу, Тихонову сыну, в столицу, первую часть рассрочки.

Аким продал мне дело в цветене, через месяц после похорон. Тихон, когда понял, что не встанет, позвал его из столицы и при мне сказал: «Чайная — Никина. Она её делала, не я». Аким служил писарем в столичной палате, чай не пил вовсе — пил кофе, — и по-моему, был рад от всего этого избавиться. Но он был сын. Ему тоже надо было жить. Он назвал цену — сто двадцать серебром: посуда, столы, запасы, право на аренду у Лаптевой, имя. Я отдала тридцать — всё, что у меня было за семнадцать лет. Остальные девяносто — по пять в месяц, полтора года.

Имя я не взяла. Аким удивился. Сказал, что «Чай Тихона Сыча» знают по всей Набережной, что это деньги. Я сказала, что Тихона больше нет, и чай теперь будет не его. Аким пожал плечами и снял старую вывеску сам — увёз в столицу, на память.

Кроме имени, был ещё Ведель. Аким сказал мне об этом не сразу — только когда мы подписали. Он сказал, что Берт Ведель, хозяин «Дома Веделя», ещё на поминках подходил к нему и предлагал за дело сто пятьдесят. На тридцать больше. Наличными, сразу. «Я отказал, — сказал Аким, — отец просил». И посмотрел на меня так, будто я ему теперь должна ещё тридцать. Я сказала спасибо. Я и правда была ему благодарна. Но про тридцать промолчала.

Девятого листопада, ровно через неделю, в одиннадцать утра, колокольчик над дверью звякнул.

Я была за стойкой, с пинцетом, — пробовала «Горный» из новой коробки — Фрей прислал его на неделю раньше, чем обещал, и я подозревала, что не просто так: листья были мельче, чем в прошлый раз, с пылью. Я как раз думала, сказать ли Фрею сразу или сначала заварить и понять, насколько плохо. Я не подняла головы.

— Закрыто до двух, — сказала я.

— Огневая управа, — сказал он. — Еженедельный осмотр.

Я подняла голову.

Он стоял в дверях — серый кафтан, оловянные пуговицы, лимон целиком. Снег на плечах. Первый снег, мокрый, морской, который тает раньше, чем упадёт. Он стряхнул его у порога, тщательно, сначала с левого плеча, потом с правого, потом с шапки, — и вошёл.

Я смотрела, как он идёт к печи, снимает перчатку и кладёт ладонь на левую стенку. Как в прошлый раз. И стоит.

Печь я затопила в восемь. К одиннадцати она взяла. Я подумала, что если он сейчас найдёт что-нибудь, я его убью. Тихоновым медным чайником.

Он держал ладонь долго. Потом передвинул выше, ниже. Потом убрал руку, надел перчатку, достал тетрадь.

— Ну? — сказала я.

— Без изменений, — сказал он.

— Это значит — всё хорошо?

— Это значит — без изменений. — Он записал. — Неровно. Как неделю назад.

— Неделю назад вы сказали, что не знаете.

— Я и сейчас не знаю. — Он закрыл тетрадь и не убрал. Повернулся ко мне. — Есть ещё жалоба.

Он вынул из тетради сложенный листок. Развернул. Положил на стойку передо мной.

Бумага была хорошая, плотная, белая, — не та, на которой пишут в слободе. Почерк — писарский, с нажимом и с хвостами. «В Огневую управу Тёплой Губы. От жильца дома четырнадцатого по Набережной. Довожу до сведения, что с открытием чайной в доме седьмом из трубы оной идёт дым густой и чад, каковой ветром наносит в мои окна, отчего в доме дышать нечем и опасаюсь возгорания. Прошу принять меры». Подпись: «Ефрем Зуб, бондарь». И крестик рядом с подписью. Бондарь Ефрем Зуб писать не умел — за него написали, а он поставил крестик.

Я прочитала дважды.

— Дом четырнадцать, — сказала я. — Это бондарня. Внизу Ефрем бочки делает. Наверху у него склад клёпки. Он там не живёт. Он живёт в слободе, через три улицы от меня.

— Подписал как жилец, — сказал инспектор.

— Он не жилец. И он ко мне ни разу не заходил. Ни при Тихоне, ни теперь. Он пьёт… — я осеклась.

— Где? — спросил инспектор.

— Не у меня, — сказала я.

Он кивнул, будто так и думал, и ничего не сказал.

— И ветер, — сказала я. — Вы сами шли по Набережной. Ветер с моря. Мой дым несёт к Агафье на задний двор и дальше, в слободу. Не к Ефрему. Ефрем — он вон, наискосок, через

дорогу, к маяку ближе меня. Чтобы мой дым до него дошёл, ветер должен дуть с суши. С суши у нас ветер — раз в месяц, в мороз.

— Знаю, — сказал он.

— Тогда что вы мне её показываете?

— Потому что жалоба подана, — сказал он. — Жалобу жителя положено проверить в семь дней. Я проверяю.

— Вы ему поверили?

— Я не верю, — сказал он, — и не не верю. Я проверяю.

Он сказал это так ровно, что я на миг потеряла, что ответить. Потом нашла.

— И как вы проверите? Сядете у Ефрема на складе и будете нюхать?

— Примерно так, — сказал он и пошёл к двери.

Я вышла за ним. Не надо было — у меня на стойке лежал раскрытый «Горный» с пылью и пинцет, и до двух оставалось три часа, и мне надо было успеть. Я вышла.

Он стоял посреди Набережной, в мокром снегу, и смотрел вверх, на мою трубу. Из трубы шёл дым — тонкий, светлый, почти прозрачный, и ветер с моря клал его набок, в сторону Агафьиного двора, в слободу, как я и говорила. Он смотрел долго. Потом перешёл через дорогу к бондарне. Постоял у её стены. Потом приложил ладонь к стене, к тому месту, где у Ефрема наверху было окно. Подержал.

Я стояла у своей двери без шали, в фартуке, и мёрзла.

Он вернулся.

— Дыма нет, — сказал он. — Тяга у вас хорошая. Дым светлый. Ветер — от бондарни к вам, не от вас к бондарне. В окно Ефрема ничего не идёт. Стена холодная.

— Я же сказала.

— Вы сказали. Теперь — я проверил.

Он вынул тетрадь и написал прямо там, у двери, на весу: «Жалоба Е. Зуба от 5 листопада — не подтвердилась. Дым светлый, тяга исправная, направление ветра противоположное». Расписался, вырвал лист и протянул мне.

— Это вам, — сказал он. — Копию.

Я взяла. Посмотрела на него.

— Чаю? — сказала я. Не знаю, зачем. Я сказала это тем же тоном, которым говорила «закрыто до двух».

— Да, — сказал он. — Самый горький. Без сахара.

— До двух закрыто.

— Тогда — в два, — сказал он и посмотрел на дверь. Как будто собирался стоять на Набережной в мокром снегу три часа.

— Заходите, — сказала я. — Сядьте у печи. Я пробую. Мне не мешает.

Он сел. Не у печи — за ближний стол, спиной к окну, лицом к печи. Сидел прямо, не снимая кафтана, положив руки на стол, и смотрел, как я работаю. Я не люблю, когда смотрят, как я пробую. Тихон смотрел — Тихону было можно. Пашка однажды смотрел — я его выгнала. Этот смотрел молча, не шевелясь, как кот на мышиную нору, и я злилась и сбивалась и в конце концов перестала пробовать и поставила чайник.

Я заварила ему «Горный».

Не знаю зачем — то есть знаю. Я хотела проверить. Я хотела понять, правда ли ему не нравится горький, — или мне показалось. «Горный» — чай хороший, северный, с гор за проливом, тёмный и круглый, с медовой ноткой в конце, если не передержать. Горечи в нём почти нет. Он стоит два медяка. Я налила его в белую чашку с синей полоской, поставила перед ним и сказала:

— «Портовый». Медяк.

Он взял чашку и поднёс к лицу, но не отпил, а понюхал.

Потом поставил чашку обратно на блюдце.

— Это не «Портовый», — сказал он.

— Ошиблась, — сказала я.

— Вы не ошибаетесь, — сказал он. — Вы пробуете каждый лист пинцетом.

Я чувствовала, что краснею, — и злилась, что краснею, и от этого краснела ещё сильнее.

— «Горный», — сказала я. — Два медяка. Пейте или не пейте.

Он отпил.

Я смотрела. И рот у него не дёрнулся. Он отпил, подержал во рту — как Тихон, маленьким глотком, — проглотил. И отпил ещё. И ещё. Лицо не изменилось, лимон остался лимоном. Но он пил «Горный» так, как не пил «Портовый» в прошлый раз: не ровно, по обязанности, а — я не знаю, как сказать — с вниманием. Так пьют то, что нравится, но не хотят, чтобы это заметили.

Он допил. Поставил чашку. Достал из кармана два медяка и положил на стол. Ровно два.

— А если бы я сказала — медяк? — спросила я. — Если бы вы промолчали и заплатили медяк — я бы и не узнала.

— Узнали бы, — сказал он. — Вы бы посмотрели, сколько я положил.

— Тогда почему…

— Я не беру угощения, — сказал он. — От тех, кого проверяю.

Он встал.

— Через неделю, — сказал он у двери.

— Печь, — сказала я.

— Печь, — согласился он и ушёл.

Я убрала его чашку. Два медяка я положила в кассу отдельно, в угол, — не знаю, зачем. Потом заварила себе «Горный» из той же коробки и отпила. Пыль. Фрей подсунул мне пыль, и я не заметила, потому что смотрела не на чай, а на человека в сером. Я села, написала Фрею записку, злую, с цифрами, и отправила с Пашкой на таможню.

Тринадцатого я повесила объявление на почте.

Почта у нас у таможни, в старом каменном доме с медным рожком на вывеске. В сенях — доска, на доске — объявления, в три слоя. Я протиснулась между бочками из-под сельди и комнатой внаём и приколола свою бумажку. «Требуется подавальщица в чайную на Набережной. Спросить хозяйку». Писать, сколько плачу, я не стала. Если бы я написала, сколько я могу платить, никто бы не пришёл.

Мне нужен был кто-то. К двум часам я ещё справлялась одна, но к пяти, когда грузчики шли со смены, у меня было по десять человек в зале, и я металась между чайником, стойкой и столами, и кто-то обязательно уходил, не дождавшись. Тихон в последний год был мне не помощник — сидел у печи и разговаривал, — но он хотя бы разговаривал, и люди ждали. Теперь никто не разговаривал. Теперь была только я.

Пришли трое. Одна — девчонка лет четырнадцати, Пашкина ровесница, бойкая, с подведёнными углём бровями, — спросила, сколько, и ушла, услышав. Вторая — пожилая, полная, с больными ногами, — сама сказала, что столько стоять не сможет. Третья — молодая вдова матроса, тихая, хорошая, — пришла с грудным на руках и спросила, можно ли с ним. Я сказала, что у меня кипяток и печь. Она сказала, что понимает, и ушла, а я смотрела ей вслед и ненавидела себя.

Объявление я не сняла.

Лимонов у меня тоже не было. В жатвене я ходила в Нижнюю долину к Вальду просить лимонов. Свои, к чаю, не заморские. Вальд стоял в дверях своей пустой оранжереи, глядел в стену поверх моей головы и сказал: «Нет». Не объяснил. Я пошла к Кравцу в Верхние Сады — Кравец лимоны не продаёт, только деревья, и год назад продал мне два деревца в зал, «Сиверных», на Тихоновы деньги. Оба погибли к весне. Кравец сказал, что я не умею ухаживать.

Тихон тогда сказал, что лимон — не наше дело, и больше не покупал. Теперь дело было моё, и лимонов в нём не было. Я решила, что найду какую-нибудь другую дурь, ради которой ко мне будут ходить.

Шестнадцатого он пришёл в одиннадцать.

Я уже не говорила «закрыто до двух». Я сказала: «Печь — там», — не поднимая головы. Он сказал: «Знаю», — и пошёл к печи.

Я пробовала зелёный. Я пробовала его третий день и не могла понять, что с ним не так: он был правильный, чистый, лёгкий, и пустой, как вода из колодца. Тихон говорил, что зелёный в нашем климате не живёт — сырость. Может, он был прав. Может, зелёный надо было с чем-то. Я стояла и думала, с чем.

— Без изменений, — сказал он от печи.

— Я рада, — сказала я.

— Есть ещё жалоба.

Я положила пинцет.

На этот раз — от вдовы Марты Ключ, дом девятый. «Запах дурной от сушки трав и прочего, отчего голова болит и кашель». Почерк — тот же, писарский, с хвостами. Крестик.

— Марта Ключ, — сказала я, — живёт в доме девятом. Через стену от Агафьи с той стороны. Ей восемьдесят два года. Она не выходит из дома с позапрошлой зимы, потому что у неё ноги. И она не чувствует запахов. Совсем. Агафья ей носит хлеб, она говорит, что Марта нюхает его и говорит: «Ничем не пахнет, а вкусный».

— Проверю, — сказал он.

— Проверите что? Пойдёте к Марте нюхать мои травы?

— Пойду к Марте, — сказал он. — Спрошу. Она подписывала?

— Она ставит крестик на всём, что ей дают, — сказала я. — Ей Агафья однажды дала записку от лавочника — она и там крестик поставила, и потом лавочник ей полгода в долг писал масло, которого она не брала.

Он кивнул и записал.

— А кто ей дал эту? — спросила я.

— Не знаю, — сказал он. — Узнаю.

Он ушёл. Я стояла у окна и видела, как он идёт мимо Агафьиной булочной к дому девятому, как стучит, как ему открывает Агафья — она всегда у Марты по утрам, — как он входит, наклонившись под притолокой. Пробыл он там четверть часа. Потом вышел — с Агафьей, — и Агафья ему что-то говорила, размахивая руками, а он слушал, наклонив голову. Потом пошёл обратно ко мне.

— Не подтвердилась, — сказал он с порога. — Госпожа Ключ запаха не чувствует. Подтвердила, что подписала, «потому что молодой человек был вежливый».

— Какой молодой человек?

— Не помнит. Вежливый. С бумагой.

Он написал на весу, вырвал лист, отдал мне копию.

— Чаю? — сказала я.

— Да. Самый горький.

Я заварила «Портовый» — честно, без фокусов. Налила ему в белую чашку, себе — в щербатую. Поставила перед ним и села напротив. Не знаю, зачем я села. Мне надо было пробовать зелёный.

Он отпил, и угол рта у него дёрнулся вниз — едва-едва.

— Вам же не нравится, — сказала я.

Он поднял глаза. Глаза у него были серые, светлые — я впервые их разглядела, — светлее кафтана, с тёмным ободком.

— Что?

— «Портовый». Вам не нравится. У вас рот дёргается. Вы зачем его берёте?

Он помолчал. Отпил ещё. Рот не дёрнулся — он, кажется, его держал.

— Он самый дешёвый, — сказал он.

— Вы инспектор. Вам платят жалованье. Вы можете пить «Горный». Вы в прошлый раз пили «Горный», и вам нравилось. Я видела.

— Он самый дешёвый, — повторил он. — Если я сижу в заведении, которое проверяю, и пью самый дешёвый чай и плачу за него ровно, — никто не скажет, что я его пью ради удовольствия. Никто не скажет, что мне здесь хорошо.

Я сидела и смотрела на него. Он смотрел в чашку.

— А вам здесь хорошо? — спросила я.

Он не ответил: допил, положил медяк и встал.

— Через неделю, — сказал он.

Колокольчик звякнул. Я сидела за столом со своей щербатой чашкой, в которой остывал зелёный, пустой, как колодезная вода, — я налила себе его, не заметив, — и думала, что он не ответил. Что «никто не скажет» — это не ответ. Это то, что говорят, когда ответ — «да», и за это «да» могут выгнать со службы.

Или когда ответ — «нет», и человеку просто неловко.

Агафья пришла через полчаса. С пирогами — она в шестнадцатое всегда пекла с капустой, — и с новостями. Она поставила корзину на стойку, села за ближний стол, на его место, налила себе из моего чайника без спросу, как всегда, и сказала:

— Ну, Никушка. Что он у Марты спрашивал — ты знаешь?

— Знаю, — сказала я. — Кто ей бумагу дал.

— А Марта сказала — молодой, вежливый. А я тебе скажу, кто. — Агафья наклонилась ко мне через стол и понизила голос, хотя в зале никого не было. — Сенька Пестов. Приказчик ихний. Я его в окно видела — в среду ещё. Шёл от Марты, бумагу в папку прятал. Я ещё подумала: чего это Сенька к Марте ходит, Марта у них сроду чай не брала.

— У кого — «у них»?

— У Веделей, — сказала Агафья. — Сенька у Берта старший приказчик. Ты что, не знала?

Я не знала. Я знала, что у Веделей приказчиков пятеро, и что они ходят по Набережной в одинаковых синих сюртуках с медными пуговицами, на которых вытиснен самовар. Я не знала, как кого из них зовут. Я не ходила к Веделям. Тихон не ходил к Веделям тридцать лет и меня отучил.

— И вот что, — сказала Агафья, ещё ниже. — Твой-то. Сухарь казённый. Он ко мне в окно глядел, когда я про Сеньку сказала. Знаешь, как глядел? Будто я ему зуб без спросу выдрала. Я ещё подумала — с чего бы ему. А потом — он пошёл, а я ему вслед гляжу, на спину, — и вспомнила.

— Что вспомнила?

— Так это ж Ведель, — сказала Агафья. — Младший. Лорка. Ишь, вырос — я его вот таким помню, — она показала рукой от пола, — он у отца в чайной на Набережной кипяток разносил, мальчишкой, в фартуке до пят. Старый Ведель его гонял. А он потом в управу ушёл, огневую, — вот отец-то рвал и метал! Весь квартал слышал. Это ж когда было — лет десять? Старого Веделя тогда и разбило. — Агафья откусила пирог. — Бертов брат он, Никушка. Родной.

Я сидела и смотрела на неё.

На Агафью. На её белый платок, повязанный на лбу узлом. На пирог с капустой в её руке. На его чашку — белую, с синей полоской, которую я не успела убрать. На медяк рядом с ней.

— Ты что? — сказала Агафья. — Ты что, Никушка, побелела-то?

Огневой инспектор Портовой части, который каждую неделю приходит проверять мою печь, которая «внушает сомнение». Который закрыл меня в день открытия. Который каждую неделю приносит жалобу, написанную писарским почерком с хвостами, на хорошей белой бумаге, — жалобу, которую носил подписывать приказчик Берта Веделя. Который сидит за моим столом спиной к окну, чтобы не видеть, наверное, золотого дракона и красный самовар через шесть домов. «Никто не скажет, что мне здесь хорошо».

Берт Ведель предлагал Акиму Сычу за мою чайную на тридцать серебром больше, чем я заплатила.

Л. Ведель. Он подписывал акты «Л. Ведель». Я читала эту подпись три раза. Я думала — ну, Ведель. В Губе Веделей, может, десять семей. Я не подумала.

Я взяла его чашку и понесла к кадке. Руки у меня не тряслись. Я вымыла чашку, вытерла, поставила на полку. Взяла медяк со стола — его медяк, ровный, без сдачи, — и сжала в кулаке так, что край врезался в ладонь, рядом с недавним ожогом.

— Через неделю, — сказала я вслух.

— Чего? — спросила Агафья.

— Ничего, — сказала я. — Пироги почём сегодня?

Глава 3. Ведель

Неделю я ждать не стала. Он тоже.

Семнадцатого листопада, в восемь утра, когда я ещё не затопила, а только выгребала вчерашнюю золу в Агафьино железное ведро, в дверь постучали. Не звякнул колокольчик — постучали. Костяшками, три раза, ровно. Так стучат, когда не хотят входить без спросу.

Я открыла. Он стоял на пороге в своём сером кафтане, без шапки, и снег таял у него в волосах. Глаза были красные, как у человека, который не спал.

— Мне нужно вам сказать, — сказал он.

— Я знаю, — сказала я.

Он замолчал. Я стояла в дверях с совком золы в руке и не пускала его. Ветер с моря дул мне в спину, в открытую дверь, и выдувал из зала последнее тепло.

— Что вы знаете? — спросил он.

— Что вы Ведель, — сказала я. — Лорка. Который кипяток у отца разносил в фартуке до пят. Что Берт Ведель — ваш брат. Родной. Что Сенька Пестов — его приказчик. Что Сенька носил Марте Ключ бумагу на подпись. Агафья вам вчера сказала про Сеньку, я знаю. А мне потом сказала про вас.

Он стоял и слушал. Лицо не менялось. Только у висков, у самых корней светлых волос, проступило что-то серое — как иней на стекле, когда дохнёшь. Я моргнула, но серое не исчезло: это была чешуя. Мелкая, серо-стальная, с тёмным краем, как его глаза. Я слышала, что у драконов она проступает, когда они не могут удержать лицо. Я никогда не видела.

— Да, — сказал он. — Это я и пришёл сказать.

— Вы пришли сказать мне то, что я знаю со вчерашнего дня.

— Я пришёл сказать вам то, что вы должны были узнать от меня, — сказал он. — Не от Агафьи. Можно войти? Вы выстудите зал.

Я отступила. Он вошёл, закрыл за собой дверь. Не сел. Остался стоять у порога, как в первый раз, — только теперь не прошёл к печи.

Он достал из-за пазухи бумагу. Не тетрадь — бумагу, сложенную вчетверо, с красной печатью внизу. Протянул мне.

— Это копия, — сказал он. — Подлинник — у головы управы. Подан сегодня в семь.

«Голове Огневой управы Тёплой Губы господину Х. Ленцу. От инспектора Портовой части Л. Веделя. Прошение. Довожу, что по двум жалобам на чайную в доме седьмом по Набережной (хозяйка Н. Корнева) имею сведения, что подписи собирал приказчик торгового дома Веделя С. Пестов. Владелец торгового дома Б. Ведель — мой родной брат. Прошу отстранить меня от осмотров названной чайной и передать их другому инспектору». Подпись. Дата.

Я прочитала. Потом ещё раз.

— Вы с первого дня знали, — сказала я.

— Что Берт — мой брат? Я знаю это тридцать пять лет.

— Что ваш брат торгует чаем через шесть домов от меня. Что я ему — соперница. Вы закрыли меня в день открытия. Вы поставили печь «под наблюдение». Вы ходите каждую неделю. И вы ни слова не сказали.

— Я закрыл вас, потому что у вас был загромождён выход, — сказал он. — Это не имело отношения к Берту. Печь — тоже. Дом Веделя не сторона в деле о вашей печи.

— А в жалобах?

— Вчера я узнал, что сторона, — сказал он. — Сегодня подал прошение.

— За одну ночь.

— Да.

Я смотрела на бумагу, на красную печать, на подпись — «Л. Ведель», — ровную, мелкую, ту же, что на актах.

— А вы знаете, — сказала я медленно, — что ваш брат предлагал Акиму Сычу за мою чайную сто пятьдесят серебром? На поминках по Тихону. На тридцать больше, чем я заплатила.

Чешуя у висков потемнела. Он ничего не сказал. Я видела, как у него сжались челюсти — один раз, коротко, — и разжались.

— Нет, — сказал он. — Не знал.

— Теперь знаете.

— Теперь знаю.

Он стоял у порога, высокий, под притолокой для гренадеров, и снег в его волосах растаял и стекал за воротник, и я вдруг поняла, что он сейчас ничего не может сделать. Совсем. Ни сесть, ни уйти, ни сказать что-нибудь, от чего мне станет легче. Он принёс бумагу. Это было всё, что у него было.

Я не обязана была ему верить. Я это понимала очень ясно, ясней, чем пыль в «Горном». Он мог знать про Сеньку с первой жалобы. Он мог закрыть меня в день открытия, чтобы рыбный ряд разнёс, что Никину чайную закрыли. Он мог ходить каждую неделю, чтобы однажды найти. И написать прошение, когда понял, что Агафья всё видела.

Мог. Я не знала. Я знала только, что он вынес мне ящик с посудой, который я не могла поднять, и сказал, что масло на ожог — зря.

— Что будет теперь? — спросила я.

— Голова решит, — сказал он. — Если удовлетворит — к вам будет ходить другой инспектор.

— А если нет?

— Тогда — я.

— Вы его спросили? Брата? Зачем он это делает?

Он помолчал.

— Я не разговариваю с братом, — сказал он. — Три года.

— Почему?

— Это не имеет отношения к вашей печи, — сказал он.

Он вышел. Я стояла у двери с бумагой в одной руке и совком золы в другой. Зола просыпалась на пол. Я её не заметила, пока не наступила.

Ответ пришёл через три дня. Не мне — ему. А мне он пришёл через Агафью, которая узнала его от жены писаря управы, которая покупала у неё хлеб.

Ленц отказал.

Я не стала ждать, пока Агафья перескажет мне, как жена писаря пересказала ей, что сказал Ленц. Двадцатого листопада я закрыла чайную на два часа — первый раз сама, по своей воле, — повесила на дверь доску «Буду в четыре» и пошла в Верхний город.

Огневая управа помещалась на Ратушной площади, в старом здании пожарной каланчи, — круглая башня из красного кирпича, с галереей наверху, где когда-то сидел дозорный, а теперь сидели голуби. Внизу была пристройка, в пристройке — три комнаты, в комнатах — писари, в последней комнате — Ленц.

Ленц был старый дракон. Это было видно сразу, даже мне: кожа на руках у него была не человеческая — сухая, бурая, в мелких чешуйках, как у ящерицы, и чешуя эта не уходила, а была всегда. Седой, лысый, с бакенбардами. Он сидел за столом, заваленным бумагами, и грел руки над самой обычной свечой — держал ладони над пламенем так близко, что человек бы обжёгся, и, кажется, ему этого было мало.

— Корнева, — сказал он, не поднимая головы. — Чайная. Садитесь.

Я села.

— Вы пришли сказать, — сказал Ленц, — что не желаете, чтобы вашу печь проверял брат вашего соперника.

— Да.

— Это ваше право. Пишите возражение. Писарь в первой комнате даст бумагу.

— А толку?

Ленц поднял на меня глаза. Глаза у него были жёлтые, старые, мутноватые, как янтарь с пузырьками.

— Толку не будет, — сказал он. — Я вам объясню, почему, и вы меня послушаете, потому что больше никто вам этого не объяснит. У меня три инспектора на весь город. Было три. Старый Кнуд ушёл в листопаде, у него руки больше не слышат. Нового мне пришлют из столицы в цветене, раньше не обещали. Остались двое. Ост — на Верхнем городе, у неё там сорок пекарен и две литейни, и она уже сейчас не успевает. Ведель — на Портовой части. Порт, Набережная, слобода, драконий квартал, таможня. Двести печей. Если я сниму Веделя с вашей печи, вашу печь будет проверять Ост. Раз в месяц, если повезёт. Если не повезёт — раз в три. А на её Верхнем городе, пока она ходит к вам, у кого-нибудь загорится литейня.

— А жалобы?

— Жалобы подают жители, — сказал Ленц. — Ефрем Зуб и Марта Ключ. Не Берт Ведель. Берт Ведель — не сторона. Если бы Берт Ведель подал жалобу сам — я бы снял Веделя в тот же час. Что Берт Ведель кому-то платит, чтобы ему носили бумаги, — это нехорошо, но это не моё дело. Моё дело — печи.

— А то, что инспектор — его брат?

— Инспектор — его брат, — согласился Ленц. — И инспектор пришёл ко мне сам. В семь утра. Через ночь после того, как узнал. И написал всё, что знал, своей рукой, с подписью. — Ленц помолчал. — За сорок лет в управе я не видел, чтобы кто-нибудь писал на себя отвод, пока его не поймали. Ни разу.

— Это не значит, что он…

— Не значит, — согласился Ленц. — Поэтому я сделаю так. При каждом его осмотре вашей печи будет понятой. Человек, которого выберете вы. Он смотрит, что делает инспектор, и подписывает акт вместе с ним. Если инспектор найдёт то, чего нет, — понятой не подпишет. Если не найдёт того, что есть, — понятой тоже не подпишет, но это уже ваша забота, не моя. Жалобы на вас идут ко мне на стол, а не к нему. Я их читаю. Я ему их передаю. Если какая-нибудь покажется мне странной — я её отложу. — Он посмотрел на меня жёлтыми глазами. — Вас это устроит?

— Нет, — сказала я.

— Я так и думал, — сказал Ленц. — Других инспекторов у меня всё равно нет. Возражение напишите. Оно ляжет в ваше дело. Весной, на весенней проверке, его прочтут. Это правильно.

Я вышла от него, написала возражение в первой комнате на казённой бумаге, отдала писарю. Писарь шлёпнул печать. Я шла обратно по Ратушной площади, потом вниз, по Корабельному спуску, к морю, и думала, что Ленц — честный старый ящер, который греет руки над свечой, потому что ему холодно, и что он сказал мне правду. И что от правды мне не легче.

Понятой я выбрала Агафью.

Агафья обрадовалась так, будто я выбрала её свахой. Двадцать третьего, в одиннадцать, она стояла у меня в зале в чистом фартуке, в новом платке, с руками, отмытыми от муки до локтей, и ждала. Когда звякнул колокольчик, она выпрямилась, как на смотру.

Он вошёл, увидел Агафью и остановился.

— Понятая, — сказала я. — Госпожа Агафья Хлебникова. Назначена головой управы.

— Знаю, — сказал он. — Здравствуйте, госпожа Хлебникова.

— Здравствуй, Лорка, — сказала Агафья. — Вырос-то как.

Угол рта у него дёрнулся — по-другому, не так, как от «Портового», а вверх. Едва-едва. Потом он пошёл к печи.

Агафья шла за ним шаг в шаг. Она смотрела, как он снимает перчатку, как кладёт ладонь на изразец, и сама положила ладонь рядом, — отдёрнула, зашипела, подула на пальцы, — и стала смотреть дальше, не трогая. Он держал руку долго. Агафья спросила: «Ну?» Он сказал: «Без изменений». Агафья спросила: «А что меняться-то должно?» Он сказал: «Если будет трещина — жар пойдёт в одно место. Сейчас он идёт неровно, но во все». Агафья кивнула с таким видом, будто поняла, и посмотрела на меня. Я тоже ничего не поняла.

Потом он достал жалобу.

Третью. От Прова Ложкина, парусника, дом двенадцатый: «Искры из трубы чайной летят на мою крышу, крытую дранкой, отчего опасаюсь пожара». Почерк — писарский, с хвостами. Пров Ложкин писать умел — он сам расписывался, кривовато, но буквами.

— Я смотрел вчера, — сказал он. — С пяти до восьми, когда у вас самый жар. С крыши таможни. Ваша труба искр не даёт. Дым светлый. Дранка у Ложкина мокрая. — Он записал. — Не подтвердилась.

— Вы сидели на крыше таможни с пяти до восьми? — сказала Агафья.

— Да.

— В листопаде?

— Мне не холодно, — сказал он.

Агафья подписала акт. Медленно, буквами, высунув кончик языка. Потом выпрямилась и посмотрела на него, на меня и снова на него.

— Ну, я пошла, — сказала она. — У меня тесто. — И ушла, не дожидаясь, пока я скажу «спасибо».

— Чаю? — спросила я.

— Самый горький.

Чай был тот же, горький, без фокусов, и чашки те же — белая ему, щербатая мне. Мы посидели молча.

— Ленц сказал, что вы пришли к нему в семь утра, — сказала я.

— Да.

— Сказал, что за сорок лет не видел, чтобы кто-нибудь писал на себя отвод, пока его не поймали.

Он отпил «Портовый». Рот дёрнулся.

— Ленц преувеличивает, — сказал он. — Я видел одного.

— Кого?

— Ост, — сказал он. — Инспектора Верхней части. Девять лет назад.

Я ждала, что он скажет ещё. Он не сказал. Допил, положил медяк и ушёл.

Двадцать четвёртого, около одиннадцати, ко мне пришла женщина с корзиной.

Я взвешивала «Горный» — тот, что Фрей заменил после моей записки, — по одному листику, пинцетом. Я не подняла головы, когда она вошла.

— Закрыто до двух, — сказала я.

— Я не пить, — сказала она. — Я от Вальда. Насчёт лимонов.

Я подняла голову.

Ей было за сорок. Невысокая, крепкая, в старом тёплом платке, с коротко стриженными, как у меня, волосами, — только у меня тёмные, а у неё русые с сединой. Лицо — обветренное, спокойное. Она стояла у двери с корзиной, накрытой полотенцем, и смотрела на мой зал так, как я смотрю на чужой чай: быстро, точно, ничего не пропуская. Полки, коробки, печь, мои руки.

— От Вальда, — сказала я. — Вальд мне в жатвене сказал «нет». Глядя в стену. Передумал?

— Нет, — сказала она. — Он не передумал. Я снимаю у него оранжерею на зиму. Веста Лугова. Садовод.

Я посмотрела на её руки. Земля под ногтями, въевшаяся, которая не отмывается. Свежий порез на большом пальце — тонкий, косой, ножевой. Шершавые широкие ладони — руки работника. Я таким рукам верю больше, чем лицам.

— Ника, — сказала я. — Хозяйка. Садитесь.

Она предложила мне лимоны, которых у неё ещё не было, — пятьдесят штук к цветеню, с семи Вальдовых деревьев, которые три года не топили, и с какого-то своего. По медяку, за задаток. Я подумала, что она ненормальная. Потом подумала, что я сама купила у Акима чайную за все деньги, которые у меня были, и что про меня думали то же самое.

Потом она сняла с корзины полотенце.

Я этот запах помню до сих пор. Я его, наверное, буду помнить, когда забуду, как меня зовут. Сладкий, густой, тяжёлый, медовый, — как будто кто-то открыл в листопаде дверь в жатвень. Мандариновые цветы. Сорок штук, белые, восковые, на мокрой тряпице, с жёлтыми тычинками.

Я взяла один, поднесла к лицу и закрыла глаза.

И вдруг поняла, что делать с зелёным.

Зелёный был пустой. Я третью неделю мучилась с ним, и он был правильный, чистый и пустой, как колодезная вода. Ему нечего было сказать. А этот цветок говорил так, что его было слишком много — один он был бы приторный, как варенье. Вместе…

— Кто-нибудь ещё это продаёт? — спросила я, не открывая глаз.

— Никто, — сказала она.

Я заплатила ей серебрушку задатка и договорилась на все цветы, сколько даст, до конца цветения, по медяку за десяток, по вторникам и пятницам к десяти. Договор я написала, пока нюхала цветок, — привычка: пока гость раздумывает, бумага должна быть готова. Она подписала: «Веста Лугова». Я посмотрела на подпись. Она сказала, что была из «Садов Кравца». Что развелась. Я сказала, что с Кравцом дел не веду, и рассказала про два «Сиверных», которые он продал мне год назад в зал. Она сказала, что в студне лимоны не выкапывают. Я сказала, что потом тоже так подумала.

И уже когда она стояла с пустой корзиной у двери, я сказала то, что, наверное, не надо было говорить чужой женщине, которую видела первый раз:

— И ещё. Если увидите у меня в зале высокого человека в сером казённом кафтане, с лицом, будто он съел лимон целиком, — не обращайте внимания. Это инспектор. Он мне печь проверяет. Каждую неделю. Не может найти, к чему придраться, и злится.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.